

1. Малява

Зал откатывался от них вниз дрожащей мережной тьмой. Как всегда, они сидели на самом последнем ряду. Она, несмотря на возраст, была дальнотворка, его привереда. Пульсирующий двухмерной жизнью экран, которым сплюснуто завершался овальный зал, дышал последними кадрами разыгранной актерами истории, что была рождена фантазией неведомых ликом сценаристов. И вот наконец добро победило, зло оконфуженно ретировалось, герои, взятые крупным планом, слились в торжествующем поцелуе. На экран выкатились и потекли по нему снизу вверх титры. Мережная тьма сменилась мерклым светом, добравшимся, однако, до всех закоулков зала. Захлопали сиденьями кресла, текущие по экрану титры заслонились фигурами поднявшейся со своих мест и двинувшейся на выход публики. Капельдинерша у двери загремела металлическими кольцами, раздвигая прикрывающую дверь плотную, тяжело обвисающую пышными фалдами черно-вишневую портьеру.

Его привереда тоже поднялась.

— Что ты сидишь? Пошли. Не отрывайся от народа.

«Не отрывайся от народа». Она любила говорить ему эти слова. Почему-то она находила, что он слишком мнит о себе. Впрочем, голос ее, когда произносила это, всегда был шутлив.

— Мне всякий раз неловко, что титры еще идут, а мы уже даем ноги, — сказал К. — Люди участвовали, работали, их имена... а ты и не смотришь.

— Не чудачествуй. Кто там остался... костюмеры, шоферы, подвозчики пиццы... кому это нужно. Пошли, — уже нетерпеливо потеревшила она его за рукав. — И все равно не видно же ничего: ты сидишь — а люди встали.

— Нет, уже подразошлись, почти не перекрывают, — отозвался он, тем не менее подчиняясь ей и вставая. — А вот если стоять, так и нормально.

— Оставайся, если хочешь, я пошла, — негодуя вздернула она подбородок, и вот, как вспорхнув, уже летела от него вдоль ряда к проходу, — ему пришлось поспешить за ней.

— Эй, эй, — догнав, поймал он ее за руку, — куда так борзо? Дверь одна, около нее все равно толкаться. Или чтоб быть с народом?

— Как ты догадался?! — обернулась она к нему — словно бы в восторге от его сметливости.

Она была не только привередой, а еще и такой игруньей, электризуя пространство вокруг себя; острыми мелкими иголками пряного возбуждения общекотывало его это ее электричество.

— Будь лучше со мной. — Рука невольно сжала ее руку... ах, он любил эту руку, что-то ныло и тянуло в груди от покорявшихся его пясти тонких длинных пальцев, просилось то ли еще сильнее стиснуть их, то ли уткнуться в них лицом, прижаться губами... что он и сделал, наклонившись и крепко, протяжно поцеловав ее пальцы в косточки средних фаланг.

— Как же я не с тобой. Я с тобой, с тобой. — Игрунья в ней стремительным пушистым зверьком метнулась в норку, исчезнув там, и привереда тоже исчезла неизвестно куда. — Мне хорошо с тобой... И ты будь со мной.

Толпа у дверей приняла их в себя, пронесла в своем тесном, неуютно сдавливающем потоке через зев двери, словно сквозь горловину песочных часов, а там, за дверью, уже открылась воля: ступай влево, ступай вправо, мчи стрелой, обгоняя тихоходов, ползи черепахой — правда, все равно в том же потоке, стремящем себя в одном направлении — к выходу из развлекательного центра. Но разреженном потоке, разреженном! ни локтя сбоку, ни чих-то волос перед глазами, прядями лезущими в ноздри, так что если и не свобода с независимостью, то автономия.

— Ой, эта твоя страсть к глубокомыслию на мелком месте! — отозвалась привереда не без презрительности (К. поделился с ней своим мудрствованием). — И охота тратить умственные способности понапрасну? Посмотрели фильм. Идем на улицу. Свобода с автономией тут ни при чем.

Она была самоуверенна и категорична, его привереда, ему нелегко с ней было.

— Свобода нас встретит радостно у входа, — процитировал он классика. — Весь вопрос в том, как она обойдется с нами при встрече? Роман со свободой — неуправляемая химическая реакция, результат которой непредсказуем.

— Почему ты преподаватель философии, а не какого-нибудь иностранного, — среагировала она на его новое мудрствование. — Выучил бы меня неведомому языку.

— Неведомому — кто бы меня самого выучил. — Он вздохнул с притворной сокрушенностью. — Где бы найти какую иностраночку! Ах, какая-нибудь бы иностраночка, ау!

— Вот тебе иностраночка! — выдернув свою руку из его, погрозила она ему кулачком. — Попробуй только,

пожалеешь. Разговаривай на иностранном сам с собой. Разрешаю. Только чтобы никто не слышал. А то сообщат куда надо, попадешь, куда не следует.

— Да уж если сам с собой, то чтобы никто, — согласился он. — Блюстители стерильности живо найдутся, доложат. Стерилизуют тебя во мгновение ока.

Разговаривающий сам с собой — это было подозрительно, означало нарушение правил стерильности, которые должны были поддерживаться в обществе неукоснительно, свидетельствовало о психическом заболевании, психически же больной подлежал неременной и немедленной изоляции от общества; психически больным надлежало находиться в соответствующем учреждении.

Улица встретила их рассеянным лиловым светом близкого предночья, за время, что они смотрели фильм, прошел небольшой дождь, и в набухшем влагой воздухе стояла сложная смесь запахов: прибитой пыли, остывающего асфальта, волглой земли, освеженной водой зелени.

— У, какая прелесть, — останавливаясь, задирая вверх подбородок и втягивая в себя ноздрями воздух, протянула привереда. — А нас и не замочило! Какие мы везучие. Везучие мы? — требующе взглянула она на него.

— Везучие, везучие, — подтвердил он. — И все другие, кто находился под крышей. Где бы то ни было. Не обязательно в кинотеатре.

— Ой, какая приземленность, никакой романтичности, подрезаешь крылья на взлете, — с порицанием произнесла привереда, продолжая стоять с задраным подбородком. — Это философу положено таким быть?

— Преподавателю философии, — уточнил он. — В правилах стерильности такой профессии — философ — нет.

— Как это нет? — Она стронула себя с места. — Философия есть, а философов нет?

Ох, что за вопрос она задала! Будто вилка провизжала по тарелке — так его оцарапало ее вопросом. Да разве же он не задавал его себе сам, и тысячу раз? Но так же всякий раз бежал от него, отпихивался от него руками-ногами, засовывал голову в песок — только зад наружу.

— Это, считается, раньше нужны были философы. А теперь необходимости в них больше нет. Отпала потребность. Все уже сказано, все осмыслено.

Произнося это, он невольно покрутил головой по сторонам, проверяя, не слышит ли кто их разговора. Нет,

ничего крамольного в его словах не было, самая что ни на есть официализина, но уже само обсуждение такой темы... что там придет в голову бюстительню стерильности, если его ухо уловит эти слова?

— Странно как, — сказала привереда. — Всегда найдется что осмыслить, оценить, поверить мыслью. Выработать концепцию, тенденции определить. Разве не так?

А вот это ее рассуждение было уже крамолой. Самой возмутительной. Где был ее чиновничий инстинкт? Конечно, ее положение в пирамиде городской администрации было почти у самого подножия, мелкий клерк, должный правильно отправить-перенаправить-подготовить бумагу, но ведь тем же сильнее полагалось бы быть инстинкту? Везущая ноги по асфальту в двух шагах впереди, — шарк-шарк, наждачно визжали подметки туфель, — квадратнотелая баба в похожем на цветастый мешок просторном платье отпустила руку своего так же квадратного статью спутника и с неумолимой угрюмой суровостью оглянулась на них. Лицо у нее тоже было квадратное, но еще и трехэтажное: собственно лицо занимало верхний этаж, а два нижних были подбородками, с важной значительностью лежавшими на груди, — типичная по виду бюстительница стерильности.

— Потолкуем потом. — К. взял привереду за локоть и сжал его, действием дополняя свои слова. — Твое мнение о фильме слишком просто. По-моему, исполнен по лучшим лекалам стерильности.

Привереда поняла его. Свое значение возымел и поданный им тайный знак.

— Еще по каким лучшим! — со старательным рвением отозвалась она.

Бюстительница стерильности еще потормозила-потормозила своего кавалера, снова ухватила за его руку и завизжала наждаком по асфальту с прежней силой. Минуту спустя на развилке дальнейшие их пути разошлись.

До дома привереды от развлекательного центра получалась четверть часа ходьбы, двадцать минут — если уж не идти, а совсем ползти. Они и ползли. Что было спешить. Такой чудный был вечер. Предночь, верное своему названию, гоня с востока сизую мглу, силилось насытить воздух пепельным светом, но ему все не удавалось сломить сопротивление запада — воздух по-прежнему был лиловым, словно оставалась открытой в ушедший день просторная дверь. И ни ветерка. Ни малейшего шевеления листвы, заметного глазу. И этот теплый запах смоченной дождем

земли, остывающего асфальта, прибитой пыли, освеженной листвы. Невозможно было отказать себе в наслаждении таким вечером.

У дома, не дойдя до подъезда какого-нибудь десятка метров, привереда остановилась.

— Давай попрощаемся здесь. Завтра у меня такой день... проверка, отчет — я тебе говорила. Мне нужно выспаться и быть свежей.

Неожиданный и увесистый был удар. Так славно сходили в кино, так замечательно прогулялись — такой упоительный получился вечер... К. невольно настроился на такое же славное завершение его, рассчитывал на это, и странно было бы не рассчитывать.

— Ладно, ладно, ладно, — привлёк он ее к себе — и о, как все в нем тотчас просквозило нежностью к ней, как полыхнуло, разожглось, воспламенилось. — Что ты, не было у тебя этих проверок? Отчитаешься за милую душу, ты у меня умница, что тебе этот отчет!

— Нет-нет, не уговаривай, оставь, нет. — Ее чудесные серые, с сизой дымкой пылающего жаром летнего дня дальнорезкие глаза смеялись, она знала свою власть над ним, была уверена в своей силе. — Я должна выспаться, и без разговоров. А ведь ты же не дашь.

— Почему же уж. — Нести обманную словесную лужу не хотелось. Ну в самом деле, не для того же оставаться у нее, чтобы она выпалась. — Я буду милостив.

— Пока, пока, — уперлась она ему руками в грудь. И стала отталкивать от себя изо всех сил. — Завтра, завтра. Давай завтра.

Он уступил. Отпустил ее. Он знал: если она хочет на чем настоять — настоит.

Поцелуй ее был сдержанно-скуп, чуть ли не братский. Не разжигайся, ни к чему, дело решенное, сообщал ему этот ее поцелуй.

Каблучки ее застучали по асфальту — он стоял смотрел ей вслед, ему доставляло наслаждение смотреть на нее, на угадываемый под покровом одежды, так хорошо знакомый абрис ее тела, ах, прожгло в какой-то момент ревностью, а ведь так с утра до вечера смотрят на нее в этой ее мэрии и другие. И что ж, что другие, набрав дверной код и приоткрыв дверь, обернулась она к К., ответила ему оттуда своей улыбкой, ведь никому другому этот абрис без одежды неведом, — подслушала его мысли, как всегда.

Он медленно тащил себя прочь от ее дома, и казалось, что пепел, накатывающий с востока, принялся заливать небо скорее, запад начал уступать. Следовало ускорить шаг и поспешить к своему дому. Но, подумав об этом, К. не изменил темпа. Не тянуло его домой. Это так счастливо сложилось у привереды, что она жила одна, а он обитал с родителями, комната их, комната его, родители, конечно, — родители, связь крови, ощущение вскормившей тебя пуповины, а все же уже не шестнадцать лет, не семнадцать, больше на целый десяток, как отряхнуть с ног прах истлевшего детства, продолжая жить все так же с отцом и матерью? Однако же карман К., несмотря на то что он ушел от себя семнадцатилетнего на добрый десяток лет, по-прежнему не позволял ему иметь отдельное жилье. Приходилось внушать себе, что не особо его это и тяготит.

Ноги между тем, понял он некоторое время спустя, стремят его на набережную — совсем не туда, куда бы следовало направляться, если все же идти домой. Пожалуй, набережная была его любимейшим местом в городе. Хорошо поставили город тысячу лет назад пращуры. Далеко в обе стороны распахивался водный простор с режущими воздух крикливыми чайками, парадным строем тянулись открытые его свежим ветрам фасады домов, поставленных большей частью еще в позапрошлом веке и оттого особо отрадных глазу, а набережная, простроченная белой стежкой фигурных столбиков балюстрады, в шпалерах вовремя подстриженного кустарника, в свежих липах, посаженных так, чтобы не закрывали вида на реку, струила себя вслед изгибам береговой линии как само воплощение разумной человеческой воли, укорачивающей разнузданную стихию природы.

Пустынна и безмолвна была набережная. Ни машины, ни велосипедиста, ни пешехода. Лишь слабый ропот листьев под веющим с реки слабым ветерком оживлял пустынную ее тишину. Это она днем кипела народом. А сейчас для народа было уже не время. Отходить ко сну готовился народ. Выспаться, подняться с утра — и в новый день, занимайся чем хочешь, блюди лишь правила стерильности.

Чувством неуютности охватило К. Той, дневной, ожидал он увидеть набережную, он ее любил ту, являвшую собой образчик воплощенного замысла о разумной и свободной человеческой воле, — на этой, предночной, ему нечего было делать. Эта, предночная, вместо радости и упоения жизнью,

что давала дневная, рождала неуверенность, тревогу, смятение, она не придавала сил, а отнимала их.

Охваченный пламенем электрического огня большой теплоход медленно выбирался из-за речной излучины. И, как всегда в таких случаях бывает, чудилось, что там, на этой неспешно являющей себя взору глыбе света и есть настоящая жизнь, ее полнота, там твой безвозвратно упущенный шанс, возможности, которых у тебя никогда уже больше не будет. А ведь запад сдался, осознал К. то, что было для него не явно до нынешнего мига. Пылающий огнем теплоход означал, что сумерки уже уступают свои права ночи, еще немного — и настоящая темнота; пора, пора было двигаться домой.

Он повернулся в намерении пуститься в обратный путь, оставив реку с сияющим теплоходом за спиной, но не успел сделать и шага — завибрировал неожиданно в заднем кармане брюк, зазвонил телефон. Это она? Передумала? Все-таки решила позвать его? К. торопливо выхватил телефон из кармана, вдавил кнопку ответа, поднес к уху:

— Да-да?!

Но обратившийся к нему голос был мужским. Незнакомым. И в интонации его, когда называл К. по имени-отчеству, был не вопрос, что было бы естественнее, — мало ли что телефон К., ведь ответить может и кто-то другой, — а утверждение, словно звонивший и не сомневался, что ответит именно К.

— Здравствуйте, — отозвался К. на его обращение. — А с кем я говорю?

— Не имеет значения, — отвечивал голос. Такой уверенный был голос, такой хозяйский, такой неколебимый в своем праве разговаривать с К. в подобной манере. — Вы на набережной? — Вот теперь в голосе звонившего прозвучал вопрос.

— Предположим, — сказал К. — И что, простите, из этого?

— Оставайтесь там, где находитесь, — повелел голос. — К вам сейчас подойдут, передадут кое-что.

— Простите, — снова сказал К. — С какой стати? Я не знаю, с кем говорю, почему я должен стоять и от кого-то брать неизвестно что? Не собираюсь я ни от кого ничего брать.

Он оторвал трубку от уха и нажал кнопку рассоединения. Что за дикий звонок! Чьи-то шуточки? И откуда кому-то, кроме него самого, знать, где он сейчас находится?

Покидая набережную, К. успел лишь пересечь проезжую часть, ленту тщательно подстриженного газона перед тротуаром, бегущим вдоль фронта домов, — на него из переулка, куда направлялся, выскочил шкет лет девяти, классического для летней поры дворового вида: в зеленой болтающейся на плечах майке без рукавов, в черных, обшарканных до лоснистости шортах по колено, в разбитых сандалиях на босу ногу, загорелые до цвета среднекрепкого шоколада голые его руки от усердия, с каким мчался, взлетали локтями чуть не к затылку. К. посторонился, пропуская шкета, но тот, промчавшись по инерции мимо, тут же затормозил, звучно провизжав по асфальту подошвами сандалий, и, бросаясь к К., прокричал:

— Дяденька! Дяденька!

— Что такое? — остановился К. Он решил, у мальчика что-то случилось и ему нужна помощь.

Шкет в майке не ответил. Он подскочил к К., схватил его руку и принялся всовывать в нее какой-то предмет вроде трубки, короткой, упругой на ощупь, никак не из металла или пластика — она твердо тыкалась в ладонь, и ладони было не больно от ее тычков.

— Вот, вот... вам... для вас... возьмите, — приговаривал шкет при этом, — возьмите... ну чё не берешь?! — взорвался он визгом, готовый, похоже, вступить с К. и в грубую схватку, но только вручить ему эту упруго-твердую трубку. — Тебе же... так бери! Бери же! Бери!

— Почему ты уверен, что мне? — спросил К., по-прежнему не принимая предмета, что шкет пытался всунуть ему.

— Кому еще? Тебе! — заверещал шкет. — Кто здесь на набережной, кроме тебя!

Так это, что подойдут и передадут, это вот об этом мальчишке, связались у К. воедино звонок и появление шкета.

— И что же это такое? — поинтересовался он.

— Что дали, то и есть, — ответил шкет.

— Кто дал? — предпринял К. попытку получить от шкета сведения, которые бы могли пролить свет на происходящее, но шкет оказался искуснее в противоборстве.

Рука его неожиданно взлетела вверх и быстрым движением сунула то, что он до того безуспешно вталкивал К. в руку, в карман рубашки. После чего шкет тут же метнулся от К. прочь.

— Малява это тебе, — бросил он вдруг огрубевшим голосом, приостановившись, когда отбежал от К. на несколько шагов.

Следом за чем вновь кинулся бежать — обратно в тот переулок, из которого выскочил на набережную, — дав такого стрекача — только замелькали протертые до дыр подошвы его сандалий.

Туго скрученный подобием маленького свитка клочок бумаги оказался в руках К., когда он извлек из кармана всунутую ему туда шкетом шутовину. «Послание? Письмо? Уведомление?» — синонимическим рядом промелькнуло в мозгу К. переложение с тюремного жаргона на обычный словарный язык. Должно быть, исходно «малява» состояла в родственной связи с «малевать». «Намалюй ему цидулю», — преподавательской привычкой тотчас закрепить оглашенный постулат наглядным примером прозвучало в К. Вновь, как тогда, когда в кармане брюк зазвенел телефон, К. подумалось о привереде: не от нее ли? С нее что-нибудь вроде такого случилось бы — пожелай она сообщить ему что-то, чего не хотела лицом к лицу, к мысли об этом ее сегодняшний отказ ему подняться вместе с ней невольно склонял. Но нет, звонок, предваривший появление шкета, не мог быть связан с нею, откуда ей знать, что он на набережной?

К. принялся разворачивать полученную бумажную трубочку. Крепко она была скатана, виток к витку, как упрессована, в середине скатки сложена пополам, в итоге же оказалась четвертушкой обычного листа формата А4. Текст внутри был написан от руки крупными печатными буквами. Изломы скатки исковеркали буквы, но писавший потрудился начертать текст достаточно крупно, и чтение его сложности не составило. «Подозреваетесь. Чревато для вас. Докажите, что подозрения беспочвенны», — было написано в записке.

Словно бы кто-то невидимый тронул в К. некую струну, и та, тяжело завибрировав, наполнила его тревожной растерянностью. Кому понадобилось присылать ему эту маляву? В чем он подозревался? Кому он должен был что-то доказывать? Какой бред! Но, задавая себе эти вопросы, он чувствовал в то же время: не бред это, никакой не бред. Не шутка какого-нибудь олуха вроде его студента. Чем-то грозным веяло от слов записки, несмотря на комичную безграмотность оборота «чревато для вас», лишнего полагающегося ему дополнения, — как бы с рельефной отчетливостью докатился до слуха раскат грома,

прозвучавший далеко за горизонтом. И что он означал, этот гром?

К. оторвал глаза от записки и огляделся вокруг. Было ощущение, за ним наблюдают через сто тысяч видеокамер. Вокруг, однако, по-прежнему не было ни души. Пустынно и тихо. Шкет исчез в переулке, исчез вместе с ним и drobный стук его сандалий об асфальт. Лишь электрический пламень теплохода оживлял вид окрест. Теплоход полностью выбрался из-за излуины, и вся его сияющая глыба с промелькивающими по палубам тенями людей была доступна взгляду.

К. вдруг нестерпимо захотелось оказаться там, в этом сияющем мире, быть одной из тех промелькивающих теней на его борту, и даже такое почудилось: вот если еще усилиться в своем желании оказаться там — и перенесешься, получится.

Но нет, невозможно это было, как ни усиливайся, и, повернувшись к теплоходу спиной, тем же переулком, из которого появился и исчез шкет, он быстро зашагал с набережной прочь — как и намеревался до таинственного звонка.

2. Сырники

Какая же вышла у К. скверная ночь! И если бы кошмары снились — понятно; нет, что-то нелепое снилось: серое было вокруг, клубящееся подобно туману, похожее на туннель, он пытался вырваться из него, там был выход, но узкий, как игольное ушко, сжимал себя, истончался, чтобы протиснуться, а истончиться не получалось, и до того тягостно от этого становилось — невероятно, просыпался от мычания, что исторгалось из него. Вскидывал себя в постели, сидел, ложился, с трудом засыпал — и снова просыпался от того же мычания. В очередной раз, когда сидел таким образом, мутно вперясь в бледнеющую предрассветную темь перед глазами, дверь с легким скрипом осторожно приотворилась, заглянул отец. Разглядел, что К. сидит, и разверз дверь в полный раствор, ступил в комнату.

— Что такое, сын? — приглушенным ночным голосом тревожно спросил он. — Почему кричишь? С тобой все нормально?

Из-за плеча его, вытягивая шею, чтобы лучше видеть К., выглядывала мать. Она в отличие от отца, который спал в пижаме, была в длинной просторной рубашке, и вот эта рубашка, подчеркнута не напоминаяшая дневную одежду, заставила К. в довершение ко всему испытать еще и чувство вины. Так громко он блажил, что разбудил их в другой комнате, сквозь две двери.

— Нет-нет, все нормально. Приснилось. — К. поторопился лечь и укрыться одеялом. — Извините, всё. Спите, не обращайтесь внимания.

— Ты правду говоришь? Просто сон? — не могла успокоиться за спиной отца мать.

— Правда, правда, — раздражился на их тревожную заботу К.

Утром, впрочем, стыдно было встретиться с родителями глазами именно из-за этого чувства недовольства и раздражения. Хотелось поскорее вычеркнуть из памяти воспоминание о ночном инциденте и избавиться от стыда.

— Ах, сырники! Сырники! — потер он поэтому с демонстративным удовольствием ладони, входя на кухню и обнаруживая взглядом на столе блюдо с горкой сырников на завтрак. Как будто сырники на завтрак были у них необыкновенной редкостью.

— Извини, но у мамы нет времени состряпать что-то другое, никак не успевает, знаешь ведь... —

В оправдывающемся тоне отца, кроме желания заступиться за жену, было и порицание К. за его, как он считал, неоправданную иронию.

— Нет, сырники — это отлично, отлично! Да еще со сметаной! — горячо подтвердил свою гастрономическую радость К. Словно сырники со сметаной были на их столе ну вообще каким-то роскошеством, несказанным яством.

— Да? В самом деле? — Отцу и не верилось в слова К., но он и готов был поверить.

Сырники, можно сказать, были профессией родителей К. Когда-то отец был инженером-технологом на заводе, а мать работала журналисткой в газете, но уже много лет, — К. еще учился в школе, — как на их должностях стало нужно проходить тест на стерильность, они не состояли нигде на службе, а зарабатывали на жизнь тем, что делали на продажу сырники. Сырники их отличались одной особенностью, из-за которой уходили влет, пользовались той популярностью, что обеспечивала их сбыт без остатка: они были вкусные. Вот просто вкусные, и все, ничего иного. Секрет был прост: родители не жмотились на яйцах, на лимонах, которыми гасили соду, добавляли в заводской творог непременно и домашнего приготовления, который варили самолично, не перекладывали муки. Они могли бы стать состоятельными людьми на этих своих сырниках. Не бог весть, конечно, какими богачами, но уж отделать К., купив ему небольшую квартирку, сумели бы несомненно. Однако весь барыш доставался такому Косихину, ресторатору и члену всяких комиссий по стерильности — районной, окружной, городской, губернской, — влиятельнейшему человеку в городе. Родительские сырники так и назывались: косихинские, и никто не имел понятия, что в косихинские рестораны их доставляют уже готовыми, остается только разогреть в микроволновке. Мать с отцом пробовали выйти из-под опеки Косихина, пытались открыть собственную торговую точку, — в первый же день точка была объявлена нестерильной, сырники реквизированы, им вынесено строгое предупреждение, а к вечеру в их гараж, где они делали сырники, пожаловал сам Косихин, — в разорванных на лямках голубых джинсах, собравшейся складками, широкой ему розовой майке-кофте, но в лаковых черных ботинках крокодиловой кожи и со стрижкой — так, волосок к волоску, стригли только за месячный оклад, что был положен К. в университете. Выручил дураков, с теплой улыбкой втолковывал Косихин родителям К., сидя перед ними

с заброшенной одна на другую ногой. Если бы стало известно, где вы делаете свои сырники, вы представляете, что бы с вами было? В гараже! Это же надо. Нарушение всех правил стерильности. Антисанитария. Ох, что бы с вами было! Вот мы бы открыли свое дело по-настоящему, арендовали бы помещение, там бы и стали готовить, попытался возразить Косихину отец. Косихин посмотрел на него недоуменно, недоуменно пожал плечами, развел руками: и он думает, что мог бы получить патент стерильности?! Что за наивность! так обольщаться! Мать с отцом, вернувшись в тот день домой, делясь с К. происшедшим, то и дело возвращались к мысли: хорошо, что есть этот гараж, в квартире ведь не развернешься, уж радоваться тому, что есть. Машины они никогда не имели, гараж достался матери в наследство, дед К. был профессором, деканом в университете, автором учебников, лауреатом премий — большим человеком был; но все в прошлом, история, слепящая своим блеском и подлежащая забвению за ненужностью. Хотя лично К. так не считал. Дед своей жизнью подпирал его, подталкивал вверх, раздувал ему крылья, К. чувствовал: он еще взлетит, у него не будет, как у его родителей, последними ничтожествами станут для него такие косихины, не решатся шевельнуть и пальцем против него.

— Знаешь, если бы удалось самоучредиться, — с затаенной мечтательностью, загораясь взглядом, произнес отец, — мы бы с мамой такие виды сырников стали делать! У нас все продумано, вся рецептура. И с маком бы, и с лимонной цедрой, и обваленные в кунжутном семени... да каких бы только не делали! Так бы развернулись!

Он всякий раз, стоило К. выказать расположение к их с матерью занятию сырниками, пытался поделиться с ним своими мечтами по развитию бизнеса, если бы обстоятельства к тому располагали. Но уж на то, чтобы вести подобный разговор, К. никак не был настроен.

— Да, да, конечно понятно, — проговорил он быстро, накладывая себе в тарелку сырников и поливая их сметаной. — Но ведь невозможно же самоучредиться? Не получится?

— Нет, не получится. Кто нам позволит. — Отец сидел, не приступая к еде, опустил голову, потер лоб в провисших струнах морщин, а когда вновь поднял голову, взгляд К. встретился с глазами, в которых не угадывалось не только огня, но и игры догорающих углей не увидеть — одна

зола. — Не Косихин, так какой-то другой косихин, с другим именем. Даже и непонятно, как это свидетельство о стерильности получать. С какого боку заходить?

— Что же тогда, — пробормотал К. Он ускользал от разговора, к которому был расположен отец, и хотел, не проявив своего нежелания вести его, дать все же отцу это свое нежелание почувствовать. — О чем тогда и толковать...

Мать возникла на пороге кухни уже одетая выходить из дома, даже с сумкой в руках, и стук каблуков по полу, когда шла к кухне по коридору, свидетельствовал, что уже и туфли у нее на ногах.

— Ты что рассиживаешься? — оттуда, с порога, требовательно обратилась она к отцу. — Пойдем, пора. Опять не успеем к приезду машины пожарить все полностью.

— Да! И Косихин будет в гневе. — Отец схватил вилкой из блюда сырник, метнул его целиком в рот и принялся торопливо жевать. — Дай же мне хотя бы что-то в желудок положить! И сама вон парочку бы своих изделий съела, — вырвалось из его переполненного рта kloкочущим мычанием.

— У меня никакого аппетита от этой жизни нет, — парировала мать. Впрочем, она присела третьей к накрытому ею столу. Боком, поставив на колени свою похожую размерами на кошелку сумку — ну точно картинка ожидания поезда на вокзале. — Схвачу что-нибудь потом по ходу, чтобы с ног не свалиться.

К. старательно пялился в свою тарелку с обрыдшими сырниками. Ему снова было стыдно перед родителями: за то, что присутствует словно бы при их обоюдном обнажении, видит их совершенно без всяких одежд, голыми — чего бы детям, какого возраста они ни будь, не следовало. И еще стучало в висках: не хочу такой жизни, как у них, не хочу, не хочу! И стыдно ему было, и жгло яростью: как вы смеете быть такими, почему?!

В университете сегодня с утра была у него назначена предэкзаменационная консультация, и не на раннее время, можно еще побыть дома и полные полчаса, но К. поднялся из-за стола даже раньше спешащего насытиться отца и постящейся матери в позе пассажирки на вокзальной скамье. И только оказался на улице, тотчас испытал облегчение. Все душившие его чувства словно выпарились в одно мгновение, отлетели невидимым эфиром — радостное ликование наполнило его. И утратил вес оттягивающий плечо широкодонный портфель на ремне, в который напихал книг для демонстрирования их на консультации. И клубящийся

туманом серый ночной коридор, из которого тщетно пытался выбраться, и вечернее происшествие на набережной с врученной ему непонятной цидулей-маявой — все, все отлетело от него. Жизнь была ясна, светла, просторна, понятна, и у него все в ней должно было быть хорошо.

Студенты, когда он вошел в аудиторию, были уже все в сборе. К. слыл простым и доступным, но требовательным преподавателем. Откуда взялась такая репутация, он не имел представления, но, узнав о ней, постарался закрепить ее. Например, не пускал на свои лекции тех, кто опоздал. Потом, правда, непременно отлавливал в коридорах того, кого не пустил, и принуждал выслушать что-то вроде конспекта лекции, на которую тот не попал. Жаль ему было их, униженных и оскорбленных его строгостью ради репутации. И сам ведь он еще недавно был таким же бесправным раздолбаем!

— Что, господа, — спросил он готовую внимать ему аудиторию, — сразу капитулируем или станем защищаться и умрем красиво?

Как обычно нашелся смельчак, что решился поднять брошенную перчатку.

— Станем защищаться! — отвечал К. голос со студенческих скамей.

— Вот верно, — признал его правоту К. — От экзамена не убежишь, нужно сдавать. Как говорил Мальбранш, не всегда полезно наслаждаться удовольствием, полезно порою и испытывать страдание.

Он был в ударе, он блистал. Стоял на кафедре — отвечал на вопросы, растолковывал, объяснял, шутил, пересыпал свой рассказ анекдотами, юмористическими историями (загодя заготовленными!), перелетал от Беркли к Ортеге-и-Гассету, от Фихте к Хайдеггеру, от Шопенгауэра к Витгенштейну. Он был недурным преподавателем, К. знал это о себе и, хотя осаживал себя в горделивом чувстве, все же и заносился, чувствовал, что заносится, — и одергивал, а там и снова ловил себя на том, что не чужд горделивого самоуважения. Что же, вопросов больше нет? — обвел он взглядом сомлевшие скамьи перед собой и, не получив на этот раз на свой вопрос ответа, в прежнем, летяще-щегоольском стиле распрощался: «До встречи, господа, на крепостных стенах!»

Уныло-казенная, в изношенных стеллажах, беспорядочно уставленных книгами и заваленных разномастными папками с сотнями нужных и давно ненужных бумаг, комната кафедры была слепяще залита полдненным жестоким

солнцем. Окно выходило на юго-восток, и от этого беспощадного солнца можно было защититься лишь плотными шторами или жалюзи, но ректорат обещал выделить деньги или на то, или на другое, когда К. заглядывал в эту комнату, еще сам ходя в студентах. Секретарь кафедры, немолодая унылая дама с крашеными в тусклый бледно-йодистый цвет волосами, усердно завитыми в редкие букли, всем своим видом согармоничная общему облику комнаты, что было неудивительно, — она исполняла свои обязанности секретаря если не с допотопных времен, то со времен Древнего Рима точно, на это ярящееся солнце, когда К. вошел, и пожаловалась:

— Ведь что-то невозможное! Я просто умираю. Когда, наконец, у нас будет спасение от этого пекла?!

Словно не от кого другого, как от К., зависело появление шумных рабочих со стремянкой и дрелью, которые взгромоздятся под потолок, просверлят в стене над оконным проемом дыры, вдолбят в них дюбели, ввинтят шурупы, и вот уже на тех висят карнизы — то ли для штор, то ли для жалюзи.

— Завтра же, — сказал К.

Секретарь кафедры неверяще, но с гримаской радости посмотрела на него:

— Как это? Откуда такие сведения?

— Если скинемся все из своего кармана. И прямо завтра же все можно сделать, — отвечивал К.

— Как это? — повторила секретарь кафедры. — Разве можно? Такая самостоятельность по правилам... Или вы что-то слышали? Разрешили?

— С завтрашнего дня, — отрезал К. — Явочным порядком. На нашей отдельно взятой кафедре.

— Уф! — выдохнула секретарь кафедры и отвалилась на спинку стула, на котором сидела, с тем облегчением, которое свидетельствовало о пережитом ею только что стрессе. Стул при этом проскрипел так громко и натужливо, словно выдохнул вместе с нею. — Вы всё шутите! Разве можно так шутить! Меру надо знать. Дошутитесь, смотрите.

— Нет, а в самом деле, — К. невольно увлекся, — почему нет? Расход, если разложить на всех, не такой уж большой, а как бы сразу стало хорошо...

— Ой, идите вы! — Унылая современница Древнего Рима села на своем стуле прямо (стул снова одышливо проскрипел), поправила букли прически и объявила К.: —

Вас завкафедрой просил не уходить. Хотел с вами пообщаться.

— На тему чего?

Странно было бы, если бы К. не сделал стойки. Даже такая мысль промелькнула: не связано ли это желание завкафедрой пообщаться со вчерашним происшествием? Впрочем, он тут же отверг эту мысль. Ароматом паранойи веяло от нее.

— А вот придет, узнаете, — с мстительным удовлетворением отозвалась секретарь кафедры. Может быть, ей было известно, для чего завкафедрой просил К. дожидаться его, может быть, нет, но что ей удалось сделать, так вид, будто смысл просьбы завкафедрой ей ведом, но К. в него она не посвятит. — Будете со мной шутки шутить!

Никаких, однако, неприятных сюрпризов появление завкафедрой К. не преподнесло. Завкафедрой, оказывается, хотел всего лишь пообщаться. Вернее, он нуждался в компании К., чтобы по окончании собственной консультации (все остальные преподаватели кафедры сегодня отсутствовали) убить время до совещания у ректора, на которое был вызван в обязательном порядке и до которого оставалось еще едва не полтора часа. В светлом летнем пиджаке, по-молодежному надетом на темно-серую майку, из выреза которой открыто и сильно тянула себя вверх крепкая мускулистая шея, с разделенными посередине головы на пробор по-артистически длинными волнистыми волосами, начавшими осторожно сидеть на висках, по-львиному мягко-кошачий в движениях, со своей обычной благожелательно-улыбчивой складкой губ, он распахнул дверь, входя, — и К., как всегда при встрече с ним, пронизало горячим отчетливым сыновним чувством. Завкафедрой благоволил К., личной инициативой дал ему на кафедре место, отстояв его кандидатуру перед начальством (у которого были на это место свои виды), — истинно сыновней была привязанность К. к завкафедрой. Ему хотелось, чтобы его настоящий отец был похож на завкафедрой, хотя бы какие-то черты — в характере, поведении... Но нет, однако.

— А знаете что, давайте пойдем в столовую нашу, пообедаем? — предложил завкафедрой через некоторое время после своего появления. — Убьем двух зайцев: и наговоримся от души, и сыты станем. Застольная беседа, она вообще... драгоценная вещь!

К. еще не собирался обедать, для него было рано предаваться радости поглощения пищи, но, естественно, он согласился отправиться в столовую, не раздумывая. Выходя

из комнаты вслед за завкафедрой, К. обернулся, поймал взгляд современницы Древнего Рима и подмигнул ей. Ничего-ничего, я на вас не держу сердца, да и вы на меня не держите, что-то вроде такого означало его подмигивание.

Широко распластавшийся и вдоль и поперек, предназначенный для приема сразу многих десятков людей, просторный зал столовой был почти пуст — летняя экзаменационная пора, — занять любимый столик завкафедрой под войлочно-лаковой пальмой в схваченной широкими лаково-черными обручами кадке не составило труда. Но без коньячка, без коньячка, приговаривал завкафедрой, отовариваясь едой на раздаче. И когда уже обосновывались за столом, снова, с видимым сожалением, протоковал:

— Без коньячка, без коньячка, да! Это вы на сегодня свою военную компанию завершили, а мне еще оружие нужно держать наготове. Мне еще, можно сказать, предстоит переход Суворова через Альпы.

— Прямо переход Суворова через Альпы? — усомнился в точности метафоры К.

— Прямо, прямо, — подтвердил завкафедрой, держа перед собой столовый прибор, как бы собираясь с силами, чтобы управляться с ним. — Всякий поход туда, — последовало легкое движение глаз и подбородка наверх, — как тот переход. Всякий раз как по Чёртову мосту, который простреливается навывлет. Цок-цок пули о скалы. Цок-цок. А ты держи гвардейскую осанку, виду не показывай, что страшно, еще и хлыстиком эдак картинно по голенищу...

— Чем выше джомолунгма, тем на ее вершине холоднее и свирепей ветры, — с видом умудренности отозвался К.

— Да уж какая тут джомолунгма. — Завкафедрой звучно поскреб ножом о вилку — словно бы поточил его. — Так, альпийские луга. Не выше. Но ветры, ветры! Как там, на крыше мира. Такие же злые. Придет время — узнаете и вы.

— Я не рвусь на джомолунгмы. Пусть они даже на высоте альпийских лугов, — отвечал К. Это не было опасливой хитростью подчиненного, стремящегося не дать шефу возможности заподозрить его в том, что разевает рот на каравай начальника. Он и в самом деле не чувствовал в себе карьерных желаний. Карьерные поползновения в человеке казались ему довольно недостойным качеством личности.

— Не зарекайтесь, не зарекайтесь. Кто знает, под какими ветрами вам ходить, — пообещал завкафедрой. — Лучше

быть готовым, чем потом в оторопь от неожиданности впадать.

Последние слова он договаривал, приступив наконец к еде, и К. последовал за ним.

— Да, без ветров жизни не бывает, — с прежним видом умудренности резюмировал К., разделявая свой кусок мяса.

Ему была приятна та дружественность, с которой завкафедрой вел себя с ним. То, как открывался ему, можно сказать, обнажался. И даже словно бы просил сочувствия. Безвозвратно стареющим отцом, да-да, стареющим отцом ощущал его К., повзрослевшим сыном — себя, и такая горячая сыновняя благодарность внутри — не передать, не высказать.

Оттого что это чувство было никак не высказать, а оно рвалось наружу, К. неожиданно, ни с того ни с сего начал рассказывать о своем утре, о родителях, их сырниках, о Косихине, на которого родители работают, о том, как они страдают, но сделать ничего не могут, этот Косихин не позволяет им... А, так эти знаменитые косихинские сырнички — это, значит, ваших родителей рук дело, еще он только помянул Косихина, воскликнул завкафедрой. Их, их, благодарно подтвердил К., получив от реплики завкафедрой заряд энтузиазма для продолжения рассказа.

Но с какого-то момента — К. не зафиксировал точно с какого — завкафедрой перестал интересоваться его рассказом, опустил нож с вилкой на тарелку, возвел очи горе, подергал головой, как избавляясь от некоего морока, перевел взгляд на начавшегося спотыкаться К. и прервал его:

— Простите-простите, но они, я понимаю, в гараже их делают, так? Не где-нибудь, а в гараже: машина рядом, бензин, канистры, инструменты...

— Да нет там никакой машины, пустой гараж, — сбитый с толку поведением завкафедрой, не понимая, с чем связан его вопрос, пустился в торопливое объяснение К. — Просто помещение, где они вынуждены их делать, — это гараж. Больше нигде, где им еще. А там можно, вполне, пространства достаточно.

— Гараж! — Весь вид завкафедрой был укор и осуждение. — О чем тогда разговор? Ведь они все правила стерильности нарушают! Разве можно еду — в гараже? Это бог знает что! Страдают, говорите? Радоваться должны, что Косихин берет у них эти сырнички!

— Но так Косихин же... и не дает самостоятельно... взять в аренду, самим... — сбивчиво, не в состоянии выстроить

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт
магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.